

**К ПРОБЛЕМЕ
АРХАИЧЕСКОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО СИНКРЕТИЗМА:
ГАЛЛЬСК. *cara* VS. ЛАТ. *cara****

© 2015 г. Татьяна Андреевна Михайлова

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия;
Институт языкознания РАН, Москва, 125009, Россия
tamih.msu@mail.ru

Отправной точкой исследования является поздняя галльская надпись из Трира № 3909, в которой латинское слово *cara* ‘милая, дорогая’ было употреблено в значении ‘любящая’. Автор находит в корпусе латинских эпиграфических текстов, зафиксированных на территории Галлии, много аналогичных «ошибочных» употреблений, фигурирующих в надгробных надписях, и высказывает предположение о влиянии на галльскую латынь собственно галльского языка, в котором родственное прилагательное *caros, cara* обладает лабильной семантикой: ‘милый, дорогой; любящий’. В работе также рассматривается проблема семантического перехода ‘милый’ — ‘любить’ и обсуждается идея полисемантности архаических прилагательных эмоциональной оценки.

Ключевые слова: Поздняя империя, латынь на территории Галлии, галло-латинское двуязычие, вербализация прилагательных, семантический сдвиг, грамматикализация, детская речь, понятие «любовь»

**GAULISH *cara* VS. LATIN *cara*:
TOWARDS THE PROBLEM
OF ARCHAIC SEMANTIC SYNCRETISM**

Tatyana A. Mikhailova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russia;
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125009, Russia
tamih.msu@mail.ru

The departing point of the article is the Gaulish inscription from Trier No. 3909 (CIL) in which the Latin word *cara* ‘nice, dear’ is used in the meaning ‘loving’. The author finds many errors of the same type in late Latin funerary inscriptions from Gallia and gives a suggestion, that this error was influenced by the labile meaning of the Gaulish *caros, cara*, having both meanings: ‘dear’ and ‘loving’. The problem of semantic shift ‘dear’ — ‘to love’ and the idea of archaic polysemantic is also discussed.

Keywords: Late Empire, Latin in Gaulish districts, Gallo-Latin bilingualism, verbalization of adjectives, semantic shift, grammaticalization, the children language, the notion of *love*

Слово, стоящее в названии моего небольшого исследования, обладает неясной семантикой, неточным прочтением и современными кельтологами признается скорее ошибочным

* Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Язык и литература в контексте культурной динамики», проект «Семантические изоглоссы Европейского лингвистического ареала», а также инициативного проекта «Эпиграфика как объект лингвистического и историко-культурного анализа», поддерживаемого РФФИ (№ 13-06-00086).

Автор выражает благодарность рецензенту, высказавшему в своем отзыве много ценных замечаний и давшему ряд важных советов.

употреблением латинской лексемы, имеющей несколько иной смысл. Я увидела его впервые в надписи на небольшом надгробии в Археологическом музее города Трира, а затем нашла саму надпись в издании «Corpus inscriptionum Latinarum» (CIL XIII 3909): **Hic quiescit in pace Ursula qui uix annos XXI Artula kara matir titulum po(suit).**

В настоящее время надпись можно считать одной из «классических», в основном благодаря исследованию К. Штюбер, в котором она названа «настоящим подарком удачи» [Stüber 2007: 90]. Австрийская исследовательница высоко оценивает «удачность» надписи как материала для лингвистического анализа, потому что в ней содержатся два имени, имеющих одно и то же значение ‘медведица’, причем имя матери — *Artula* — галльское, тогда как дочь, предположительно, названа тем же именем, но уже в его латинской форме — *Ursula* (соответственно от галльск. *arthos* и лат. *ursus*, к и.-е. **h₂rtk'o-*, см. [Matasović 2009: 42]; о кельтских именах, образованных от этого корня см. также [Delamarre 2003: 55—56; 2007: 27; Schmidt 1957: 135; Stüber 2005: 58]).

Что можно сказать о датировке текста? С одной стороны, анализ собственно археологического материала (т. е. памятника, на котором была вырезана надпись) может дать здесь очень мало. Для более богатых надгробий применялись заготовленные плиты из мрамора, известняка и песчаника, причем в разные периоды наблюдалась и разная традиция выбора самого камня, что отчасти позволяет датировать памятник в пределах полувека (от I до IV в. н. э., см. об этом подробнее [Raepsaet-Charlier 2001a: 345]). Что касается эпиграфических формул, то, как принято считать, в период христианизации традиционные латинские надгробные формулы сменяются новыми и вместо «зачина» *D. M. (dis manibus)* появляются «новые» способы меморации усопшего при помощи слов *hic iacet* или *hic requiescit* [Davies et al. 2000: 88]. Однако это не совсем так. Формулы «здесь лежит» или «здесь покоится» появляются раньше и могут соотноситься с действительно поздней установкой адресовать текст надгробия анонимным прохожим, датируются они уже I в. н. э. и могут сочетаться с римской аббревиатурой *DM*. Ср., например (надпись из Арлона, Бельгия: наличие *tria nomina* в официальном именовании дает дату — начиная с сер. IV в. н. э.):

DM / GAI JULI MAXIMINI EMERITI LE/GIONIS VIII BENEFI/CIARUS
PROCURATO/RIS ONESTA MISSIO/NE MISSUS. ISTA ME/MORIAM PROCURA/
VIT SIMILINIA PATE/RNA CONIUX CO/NIUGI KARISSIMO / MAXIMINUS
(H)IC QUIESQUIT. AVE, VIA/TOR. VALE, VIATOR [ILB: 84]

‘Богам-манам Гая Юлия Максимины, пенсионера 8-го легиона, бенефициария прокуратора, ушедшего на заслуженный отдых. Симилина Патерна, супруга, супругу дражайшему памятник воздвигла. Здесь покоится Максимин. Здравствуй, прохожий, прощай, прохожий’.

Латинская формула *qui vixit* из надписи 3909 также позднего происхождения, и ее появление датируется примерно началом I в. н. э. (см. [Raepsaet-Charlier 2001b: ix]). Таким образом, собственно текст эпитафии еще ничего не говорит о его дате и мог бы быть отнесен к широкому периоду от I до IV в. н. э. Совершенно очевидно при этом, что текст эпитафии не самостоятелен, т. е. использует уже сложившиеся формулы и копирует существующие модели.

Интересующий нас текст написан на небольшой плитке красной глины, характеризующей так называемые «скромные погребения» [RIG II, 2: 227], которые, как правило, относятся к более позднему времени, когда традиция римских надгробий начала проникать в более широкие слои населения. Поэтому дата (начало V в.), стоящая в Археологическом музее Трира возле интересующего нас памятника, представляется вероятной. Надпись была обнаружена во время раскопок кладбища на окраине современного Трира, захоронения в котором датируются IV—V вв., и у нас нет оснований предполагать, что сам текст может иметь иную датировку, чем его носитель (см. о раскопках и характеристике археологического и эпиграфического окружения [Krämer 1974: 26—28]).

Что представлял собой район Трира в IV—V вв. с точки зрения этнической, политической и лингвистической? Область по течению р. Мозель, которую занимало галльское племя тревиров, была присоединена к Риму еще в ходе Галльской кампании Цезаря, и около 30 г.

до н. э. там были построены римские военные укрепления. Примерно в 15 г. до н. э., уже при Октавиане Августе, там был основан город, получивший название *Augusta Treverorum* (современный Трир). К концу II в. н. э. город разросся, кроме военных укреплений в нем был построен амфитеатр, бани, виллы, а также сохранившаяся до нашего времени въездная башня — *Porta Nigra*. К концу IV в. (в 318 г. там была учреждена галльская префектура) город еще больше расширился и стал «одним из крупнейших городов галльской провинции» [Duval 1952: 60], неофициально считавшимся «северной столицей Империи». Население его к этому времени насчитывало около 100 тыс. человек (римским гражданством обладало около 10 %). Но после ряда германских и гуннских вторжений город утратил свое политическое значение, а в 475 г. окончательно перешел в руки франков, в дальнейшем занявших практически все районы, заселенные ранее галльскими народностями. Однако в отличие от более южных и западных территорий, франки-завоеватели в прирейнских землях не утратили своего германского языка и не перешли на диалекты народной латыни; напротив, местное население утратило и свой исконный язык, и приобретенную латынь (в ее местной форме) и германизировалось. Предположительно, это произошло не только потому, что данные районы были захвачены франками раньше (территории, прилегающие к Сене и Луаре, попали под влияние франков всего лишь на 10 лет позднее), но и по той причине, что, несмотря на сильное римское влияние на Мозеле и Рейне, местное население сохраняло кельтские диалекты в качестве основного средства коммуникации и использовало их гораздо дольше. Существует, например, известное свидетельство св. Иеронима о сходстве языка треверов и галатов, сохранившееся в его комментариях к «Посланию к галатам» (см. [Collis 2010: 25]):

unum est, quod inferrimus et promissum in exordio reddimus. Galatas exepito sermone Graeco, quo omnis oriens loquitur, propriam linguam eadem paene habere quam Treveris

‘Одно есть, что мы отмечаем и в дальнейшем должны учитывать, галаты понимают греческую речь, на которой говорят все на востоке, но речь их самих такая же, как и треверов’.

Треверы, как и ряд других кельтских народностей прилегающих территорий, не переняли ни греческого, ни латинского алфавита для фиксации собственного языкового материала (как это имело место в западных и южных районах современной Франции, где этот процесс начался гораздо раньше). Как и в Британии, собственно кельтских текстов в прирейнских зонах не сохранилось, и галльский языковой материал представлен лишь в именах собственных и теонимах, вкрапленных в латинские эпиграфические памятники. То есть, говоря проще, треверы в основной своей массе латынь знали плохо, но и местные диалекты не имели там поддержки ни в виде письменной традиции, ни в виде реконструируемой поэтической и прозаической традиции устной (как это было, например, в Уэльсе). Невзвешенное двуязычие проявлялось, в частности, в довольно низком уровне латинской языковой компетенции местного населения, что ясно видно из многочисленных ошибок, которыми изобилуют памятники, в первую очередь — содержащие кельтские имена. В надписях встречаются ошибки как фонетического, так и морфологического характера, но также могут проявляться местные галльские черты. Так, например, в ряде памятников демонстрируется характерный «галльский датив» имен, относящихся к **ā*-основам (*Pruscia* вместо *Prusciae*, см. [ILB: 126]). В этих текстах также могут содержаться «скрытые» галльские формы, особенно ценные в свете всего сказанного выше, однако отделить «галлицизм» от ошибочного употребления латинской лексики, близкой этимологически и семантически, оказывается возможным далеко не всегда.

Текст надписи № 3909 квалифицируется кельтологами как целиком латинский (кроме имени матери), но содержащий ряд ошибок, вызванных не только низким уровнем языковой компетенции и «описками» резчика, но и собственно народно-латинскими чертами. Так, первая половина надписи, видимо, проблем не вызывает: она, несомненно, была скопирована с аналогичных надгробных формул, причем употребление *qui* (вместо *quae*) характерно для народной латыни, обобщившей исходные формы, различавшиеся по роду, и может быть переведена как: ‘Здесь покойся с миром Урсула, которая прожила 21 год...’. Но что дальше? Трактовка формы *matir* как латинской ошибочной (вместо *mater*) автоматически

предполагает и дальнейшее «латинское» прочтение надписи, причем не только лексически, но и контекстуально. Но сочетание *cara*¹ *matir*, к моему удивлению, не вызывает у исследователей потребностей в какой-либо интерпретации и традиционно переводится как ‘Артула любящая мать...’. Однако в классической латыни *cārus* означает ‘любимый, милый’, но не ‘любящий’, что фиксируется и в латинской эпиграфике (ср., например, CIL XIII 1854: *mater infelicissima* ‘несчастнейшая мать...’ при CIL XIII 586: *karo contubernali* ‘дорогому товарищу...’). В романских языках продолжения лексемы также сохраняют ее семантику ‘милый, дорогой’, но не ‘любящий’ (ср. франц. *chère*, итал. *caro*, при ином типе деривации в исп. *querida* ‘милый, приятный; любимый’ < *querer* ‘любить’ < лат. *quaerere* ‘искать, стремиться, помогать и пр.’).

В относительно недавно вышедшей статье Р. Майснера, посвященной анализу социолингвистической ситуации в района Мозеля и Рейна в первых веках нашей эры, надписи № 3909 уделено значительное внимание. Автор обращает внимание на то, что слово *matir* может быть интерпретировано в ней не как ошибочное написание латинской лексемы, но как введение в текст соответствующего галльского слова (см. [Meiβner 2009/2010: 110]). Действительно, лексема *Matir* представлена несколько раз в галльской надписи-проклятии на табличке из Ларзака, а также в форме дат. пад. мн. ч. *matrebo* в вотивной надписи из Нима (см. [Delamatre 2003: 220]). Однако на этом его предположения о наличии галльского лингвистического материала заканчиваются, и слово *cara* он рассматривает как ошибочное выражение «скорби по умершему» [Meiβner 2009/2010: 110].

Я должна признать, что для такой интерпретации у Р. Майснера основания есть: в надписях данного времени и региона я сама нашла несколько ярких примеров, демонстрирующих низкий уровень языковой компетенции резчиков (заказчиков?), для которых не только слово *cara*, но и суперлатив *carissima* (своего рода штамп для выражения любви к умершему в поздних латинских эпитафиях) используются уже по отношению к самому заказчику надгробия, т. е. демонстрируют семантический сдвиг с пациенса на агенс. Ср., например:

CIL 3869: <...> FLORENTINA FILIA CARISSIMA TITULUM POSVIT

‘Флорентина, дражайшая дочь, памятник воздвигла’;

CIL 3856: <...> VENRIA CONIVX CARISSIMA TITVLVM POSVIT

‘Венрия, дражайшая супруга, памятник воздвигла’.

Ср. также (надпись на надгробии из Аквитании):

CIL XIII 11050: DIS MANIBUS ET MEMORIAE CLAUDII PLACIDI CIVIS PETRUCORII. SUADUGENA PARENS CARA POSUIT [Raybould, Sims-Williams 2007: 22]

‘Богам Манам и памяти Клавдия Плакида, гражданина Петрукория. Суадугена, дорогая родительница, воздвигла’.

Ср. правильное употребление прилагательного на надгробии из того же региона при обилии других ошибок в латыни:

CIL XIII 11162: ...]AE RUFINAE CUAЕ VIXIT ANNOS XXIII. RECEPTIUS DIVIXIT FILIUS CONIUGAE KARISSIMAE ET IULIAE FILIAE EIUS

‘Юлии Руфине, которая прожила 23 года. Рекепт, сын Дивихта, супруге дражайшей и Юлии, его дочери’.

То есть, как мы видим, употребление слов со значением ‘дорогой, дражайший’ с заменой пациенса на агенс в районах проживания галльских племен и распространения народной латыни происходит нерегулярно, что свидетельствует скорее об ошибке, но ошибке все же достаточно частотной, чтобы стать объектом лингвистического анализа.

¹ Возможное прочтение слова как *kaba*, открывающее путь для дополнительных возможных трактовок, в данной работе мною намеренно не учитывается, см. однако об этом в [Михайлова 2014].

Более того, в своей работе Р. Майснер приводит еще более яркий пример:

CIL 3810: HIC IACET IN PACE CONCORDIA QVAE VIXIT ANNOS PL... MN LXV CONCORDIUS ET CONCORDIALIS FILII **DVULCISSIMI** TITULVM POSVERUNT

‘Здесь покоится в мире Конкордия, которая прожила... 65 лет. Конкордиус и Конкордиалис, сыновья сладчайшие, памятник воздвигли’.

Если последний пример действительно можно трактовать лишь как ошибочное употребление латинской формульной лексемы, то о словах *cara* (*carissima*) я бы остереглась говорить так однозначно. Собственно галльский материал дает множество данных ее употребления как в составе *nomina propria*, так, возможно, и изолированно.

В издании «Галльские личные имена» Д. Эллиса Эванса приводится 198 имен, содержащих этот элемент (см. [Ellis Evans 1967: 163—165]), причем некоторые встречаются по многу раз. Так, например, для имени *Andecaros* ‘очень милый’ дается 11 вхождений. При этом, как признается составитель, в список им были включены не все встретившиеся имена, но лишь те, которые он счел однозначно галльскими, поскольку в ряде поздних памятников (периода Империи) трудно было избежать подозрений «в том, что имена *Caros* и *Cara* являются скорее латинскими, чем кельтскими» [Ibid.: 162]. В дальнейшем данная проблема (семантическое и фонетическое сходство галльских и латинских имен и соответствующие реинтерпретации последних) была изучена достаточно глубоко, и эти имена получили название *Decknamen* — букв. ‘покрытые имена’, или, как их называет бельгийская исследовательница М.-Т. Рапсат-Шарлье, *noms d'apparence latine* [Raepsaet-Charlier 2001a]. Поэтому в ситуации двуязычия имена *Caros* / *Cara* одновременно входили в ономастический обоим языковых пластов. Ни о каком предположительном латинском заимствовании ономастической основы здесь говорить не приходится, так как это же имя засвидетельствовано и в раннегидельском ономастическом (CARI, NETACARI, см. [Королев 1984: 126; McManus 1997: 107]), и в кельтиберском — *Karos*.

Car- как первый элемент имени выступает редко (ср., однако, *Caromaros* ‘милый-большой’, о нем см. ниже), но отмечен обильной суффиксацией как патронимической (*Careius*, *Carianos*), так и диминутивной (*Carissa*, *Carilla*, *Carullus*). Особый интерес вызывает суффиксация, маркирующая образование причастий, выдающая предположительную вербальную природу лексемы: *Caratos* / *Carata* ~ *Carantos* / *Caranta* (также с возможной дополнительной суффиксацией: *Carantilla* ~ *Caratilla*).

Идея о деадъективной вербализации корня *car-* уже в галльском была высказана еще К. Шмидтом (см. [Schmidt 1957: 163]) и затем более детально проанализирована Э. Хэмпом в [Hamp 1976]. Базируясь на приведенном выше ономастическом материале и реконструируя протокельтские формы, он приходит к выводу, что «*Carant-* и *Carato-* исходно являются параллельными образованиями к **karə-nt-* и **karə-tó-* с семантикой ‘любящий’ и ‘любимый’» [Ibid.: 5]. Его реконструкцию на первый взгляд можно считать безупречной. Она, как кажется, поддерживается другими данными галльского языка: так, например, во владельческой надписи из Пенн-Мирабо, нанесенной на боковую поверхность горшка, можно увидеть аналогичную вербальную деривацию: *eskenūolati aniateiūs cūm* (G-13) [RIG I: 40], трактуемую как ‘Эскенголата неотнимаемое я есть’ (к реконструируемому глаголу **ia-* ‘брать, обладать’ с каузативным инфиксом *-i-*, трансформирующим его в ‘отнимать’, и формантом *-t-*, имеющим, однако, значение не столько супина, *amata*, сколько герундива, *amanda*). В недавней работе П.-И. Ламбера [Lamber 2014] показано, что этот же формант сохранился и в древнеирландских формах «необходимости», ср.: *Níbo chomitesti dó* ‘Не следует простить его’ (букв. ‘не есть это **простительно** ему’), *Ní dénti dúib-si anísín* ‘Не следует вам делать это’ (букв. ‘не **деятельно** вам-же это’). Действительно, именно значение ‘не должно быть отнято’ фиксируется в процитированной надписи, но как же тогда быть с именем *Caratos*? ‘Любимый’ или уже, скорее, ‘тот, кто должен быть любим’? Или средствами латинской словообразовательной модели делается попытка реконструировать соответствующий глагол, в латыни не существующий, а в галльском — не зафиксированный?

Формы *Carantos / Caranta* на первый взгляд оформляют действительное причастие и, казалось бы, должны иметь глагольную природу. Так, др.-ирл. *carae*, gen. *carat / carad* ‘друг’ возводится к протогойдельскому **kare/ant-* ‘любящий’ [McCone 1994: 113], т. е. «друг» — это ‘тот, кто любит меня’². Однако не всегда данный формант относится к глагольной основе. Ср., например, название галльского племени бригантов: *Brigantes* < **bhregh* ‘высокий’ [IEW: 140] + *-nt-*, букв. ‘высокие, обладающие высотой’ (ср. также в ономастике: *Brigantius, Brigantia, Briganticus*)³.

Кроме того, семантика ирл. *cara*, gen. *carad* ‘друг’ не полностью соответствует ни русск. *друг*, ни реконструируемой форме *любящий*. Характерно в данном случае толкование лексемы, представленное в словаре П. Диннина: ‘a friend, a beloved one’ [Dinneen 1927: 164]. Обращает на себя внимание и то, что в современном ирландском эпистолярном этикете аналогом англ. *Dear Mary* ‘дорогая Мэри’ является *A Mháire, a chara* ‘Мэри, друг’.

Но, главное, как быть с галльскими бессуфиксальными формами *Caros / Cara*, также представленными и в гойдельском огамическом ономастике? Э. Хэмп видит в них вторичное глагольное имя (любовь как процесс), однако островными данными эта идея не поддерживается.

Древнеирландский глагол *caraid* ‘любит’ (при средневаллийском *caru* ‘то же’), который, бесспорно, соотносим с галльскими формами, является, тем не менее, глаголом слабым, т. е. имеющим отыменное происхождение. Деадъективным вербальным образованием от «незасвидетельствованного прилагательного **karo-* ‘милый, дорогой’» считает его и Р. Матасович [Matasović 2009: 191], полагая, что данная основа имела глагольное оформление уже на протокельтском уровне. Я не могу с уверенностью говорить, что это не так, однако не могу быть уверенной и в обратном, учитывая, что разделение прагойдельской и прабриттской ветвей кельтских языков имело место, по данным глоттохронологии, примерно в 1200 г. до н. э. Сопоставление данных кельтских языков здесь может лишь свидетельствовать о том, что основа в них уже присутствовала на самом раннем реконструируемом уровне, но судить о ее морфологической природе у нас оснований нет (см. выше предположение Хэмп о вербализации адъектива в рамках галльских диалектов).

Более того, в словаре Ю. Покорного [IEW: 515], где в качестве исходного дается глагольная основа **kā-* ‘охотно использовать, предпочитать’, деривации с формантом *-ro-* характеризуют, как правило, имена и адъективы (кроме уже приведенных кельтских и латинских данных, ср. также гот. *hors* ‘блудница’, др.-в.-нем. *huora* ‘шлюха’, др.-исл. *hōra-* ‘супружеская измена’ при лит. *kars* ‘распутный’, ср. также тох. А/В *krant / krent* ‘хороший’, соотносимые с галльскими *-nt-* формами). Германский семантический переход ‘милый, любимый, любовь’ → ‘распутный, имеющий отношение к незаконной любви’, видимо, произошел в результате вытеснения в общегерманском указанной основы другим корнем, получившим статус базового для обозначения любви в целом (**leub^h-* [IEW: 683]).

² Аналогичное развитие ср. также в англ. *friend*, образованное от глагола *freōn* ‘любить’ (см. [Skeat 1887: 220]).

³ Проблема противопоставления активных и пассивных причастий деадъективного происхождения в континентальном кельтском является достаточно сложной, причем выходит далеко за рамки кельтского ареала. Не случайно одной из последних конференций по индоевропеистике было рабочее совещание «Отглагольные прилагательные и причастия в индоевропейских языках» (обзор см. [Иванова 2015]). В частности, в докладе Ж. Пино отмечалось, что «из-за омонимии с 3 л. мн. ч. инфюнктива активного залога отглагольные прилагательные на **e/ont-* грамматикализуются как активные процессуальные причастия во всех и.-е. языках, кроме анатолийских (где *šekkant-* может значить как ‘знающий’, так и ‘известный’»)» [Там же: 175]. Но, как принято считать, в континентальном кельтском данная омонимия хотя и возникла, однако процесс грамматикализации не прошла, и поэтому активные и пассивные форманты практически семантически не различались, конкурируя одновременно с адъективными формами с вербальной семантикой (см. выше о рассуждениях Хэмп, вряд ли представляющих как верные в свете всего сказанного).

В свое время К. Уоткинсом высказывалось предположение о «другой» этимологии кельтских основ, которая, говоря строго, интерпретации Покорного не противоречит. Он возводил их к реконструируемому им слову детской речи, точную семантику и форму которого он не указывает, но предполагает аналогичное развитие в лат. *amāre* ‘любить’ [Watkins 1962: 185]. Действительно, латинский глагол, также имеющий именную природу, принято соотносить с лат. *amma* — словом детской речи, имеющим значение ‘мама, бабушка, старшая родственница’ (см. [Ernout, Meillet 1939: 44, 46; IEW: 36]) и, добавим, находящим множество параллелей в других языках.

Возведение значимой лексемы к звукам, издаваемым соответствующим живым существом, в языкознании засвидетельствовано широко и называется ономапеей⁴. В узком смысле слова под этим явлением понимается перенос характерного звука, который издает животное или даже неживое существо, на собственно обозначение этого существа: ср. обозначения типа *квакушка*, *мявка*, *гулутка*, *кукушка*, но также *треск*, *хрупанье*, *стрекот* и пр. Продолжая рассуждать о звуках, издаваемых младенцем, и уловив в них, вслед за Р. Jakobsonом, характерные губные, дентальные и сонорные, мы должны будем прийти к выводу, что элементы так называемого «гуления» должны будут переноситься на обозначение самого ребенка. Такие феномены фиксируются достаточно широко (ср.: *лялька*, англ. *baby*, франц. *bébé*, итал. *bimbo*, исп. *niño*, др.-ирл. *lelap* ‘младенец, не умеющий говорить’ и пр.). Однако в известной работе Jakobsonа «Почему *мама* и *nana*?» [Jakobson 1967], посвященной в основном фонетической стороне проблемы и описывающей характерную редупликацию слога, отмечается и другой момент. В отличие от животных, ребенок предстает (поразительным образом универсально, хотя и интуитивно) как обучаемый объект, который должен получить от родителей (или иных старших родственников) основы коммуникативных навыков, вначале — на уровне идентифицирующей номинации. Так, с одной стороны, как он пишет, «так называемый “baby-talk”, используемый внутри группы для общения с детьми, представляет собой своего рода пиджин, типичный смешанный язык, в котором адресанты стараются применяться к речевым особенностям адресатов и таким образом вырабатывать общий коммуникативный код, одинаково приемлемый для обеих сторон взросло-детской коммуникации» [Jakobson 1967: 538]⁵. В то же время «использование этих форм взрослыми призвано приучить ребенка к более четкой фонетической дистинктивности и более высокой стабильности значения слов» [Ibid.]⁶. Таким образом, например, спонтанно возникающий в детской речи (baby talk) слог *ta*, пройдя через стадию эмоциональной редупликации, становится элементом «детского пиджина» (nursery form) и затем закрепляется за семантемой «взрослый родственник, преимущественно мужского пола». Или, как писал об этом еще Есперсен, «ребенок дает звуковую форму, а взрослые придают ей значение» [Jespersen 1949: 150]⁷. Естественно, отдельные слоги, продуцируемые младенцем, еще не собственно семантичны, и лишь участие взрослого делает их единицами языка, в первую очередь обозначениями близкого родства. Естественно и то, что сами возникающие лексемы условны (общеизвестно, например, что в грузинском языке *дэда* ‘мама’, а *мама* ‘папа’). Для меня

⁴ В данном случае речи об ономапозитической («звукоподражательной») теории происхождения языка, естественно, не идет.

⁵ Ср. из собственных наблюдений автора:

В. (53 года), обращаясь к внучке (3 года): — Ну, *кушай*, *покушай* еще!

Обращаясь к невестке Т. (28 лет): — Мне кажется, она уже не хочет *есть*.

⁶ О коммуникативной стратегии в общении с детьми до года см., например, [Bryant, Barrett 2007].

⁷ Данная, в общем-то, более чем распространенная теория категорически не принимается О. Н. Трубачевым, который в каждом конкретном случае (*тятя*, *баба*, *ляля* и пр.) буквально с ненавистью говорит о «ссылках на детский лепет» (см. [Трубачев 2006: 23]) и каждый раз пытается дать соответствующую индоевропейскую этимологию. В целом его критика (см. [Там же: 193—197]) теории Lallwörter не лишена интереса и звучит сейчас по-новому в свете возврата интереса к проблеме происхождения языка (речи?) в целом.

в данном случае наиболее важными оказываются омонимичные лексемы, восходящие к детскому до-речевому производству, но обозначающие как собственно ребенка, так и старшего родственника. Ср., например, пары: *baby* ~ *baba, lala* (ребенок) ~ *lala* (сестра матери или отца в ряде славянских языков), *ninio* ~ *n'an'a* и др.

Приведенные примеры были взяты из разных языков и сведены в пары искусственно, что, казалось бы, должно привести к логичному выводу о принципиальной дополнительной дистрибуции плана выражения соответствующих слогов. Так, например, если в языке X слог *la* в его редуцированной форме кодирует обозначение ребенка, то в «детском языке» (в его кодифицированном взрослыми виде) он уже не может стать обозначением взрослого родственника. И вот тут я подхожу к наиболее тонкой и проблемной части моей работы, которая требует выхода из собственно лингвистической сферы в область субъективно-эмоциональную, что, впрочем, предполагает стоящая в названии работы лексема *sara*.

Взаимоотношения детей и родителей (или замещающих их функций взрослых) строятся на принципе взаимного обмена информацией, базирующемся на том, что может быть названо любовью. Причем эмоциональный поток в данном случае оказывается двунаправленным, и именно это обуславливает успешность контакта. На уровне языкового оформления этот процесс может быть описан как реципрокный, т. е. вызывающий появление лексем, как имен, так и глаголов, описывающих взаимные связи. По определению, данному еще А. М. Пешковским, эти ситуации порождают конструкции с субъектами, каждый из которых «является одновременно и действующим предметом (субъектом), и предметом, подвергающимся действию (объектом)» [Пешковский 2001: 115]. Понятие реципрокности обычно связывают с глаголом и в первую очередь выделяют его формальную морфологическую составляющую. Но, как верно отмечает А. Б. Летучий, в данном случае возможен и иной подход, «скорее семантический: реципроком называется любая конструкция, выражающая значение взаимности. При таком понимании к разряду реципроков относятся не только производные глаголы, но и лабильные лексемы типа англ. *kiss* ‘целовать(ся)’, стативные глаголы типа *соответствовать*, существительные со значением симметричной ситуации типа *конфликт*» [Летучий 2009: 336—337].

Я полагаю, семантическая реципрокность (или лабильность) может постулироваться и у существительных и прилагательных, причем относящихся не обязательно к «симметричной ситуации», но и к симметричному перцептивному признаку.

Так, С. М. Толстой было убедительно продемонстрировано, что в славянских языках слово *темный* может иметь не только значение ‘мало доступный для зрительного восприятия’, но и ‘мало способный к зрительному восприятию, слепой’ (многочисленные яркие и убедительные примеры см. в [Толстая 2008]). Вспомним, например, прозвище русского князя, который был ослеплен в ходе распри: Василий Темный (= ‘слепой’). Как я понимаю, современное русск. *темный* со значением ‘необразованный, мало понимающий’ возникло, предположительно, в результате семантического сдвига ‘темный — плохо доступный для зрительной перцепции’ → ‘темный — плохо доступный для ментальной перцепции, непонятный’ (также засвидетельствовано в контекстах) → ‘темный — мало способный к ментальной перцепции, глупый’. Но так ли это? Представим сказанное в виде схемы:



У меня нет уверенности в том, что в полученной схеме стрелки расставлены правильно и что не может быть реконструирован также семантический переход ‘слепой’ → ‘глупый’. Более того, нет уверенности и в том, что изначальной семантикой в данном случае оказывается именно собственно ‘темный’ (как ‘плохо видный’).

Естественно, в данном случае встает вопрос о глубинной первичной семантике лексемы *темный* (как и рассматриваемых С. М. Толстой аналогичных лексем *глухой*, *слепой*). Ссылаясь на работу М. Войтыла-Свежовской «Почему глухой не слышит?» [Wojtyła-Świercowska 1991], базирующуюся на чисто этимологической реконструкции, автор осторожно высказывает предположение, что для славянского *слепой* исходным следует считать значение ‘закрытый, замкнутый’, тогда как значение ‘плохо видящий, невидящий’ можно считать вторичным (см. выше на схеме, но уже применительно к лексеме *темный*).

Аналогичное семантическое развитие мы можем наблюдать и для ирл. *dall* ‘слепой, темный’, ср. *fer dall* ‘слепой человек’, но *daire dall* ‘темный лес’, а также *beith dall ar rud* ‘не понимать чего-л.’. Этимологически лексема возводится к и.-е. **dheu-* ‘мутный, грязный, неясный’ [LEIA: 18], т. е., как и в приведенных выше случаях, исходным полагается обо-значение объекта как плохо доступного для зрительной (и слуховой, ср. гот. *daufs* ‘глухой’) перцепции и уже вторичным — обозначение субъекта как мало способного к перцепции. Видимо, речь идет об одном из универсальных семантических переходов (см. подробнее в [Зализняк 2013]), как кажется, еще не описанном на широком языковом материале. В работе С. М. Толстой семантическая реконструкция, проведенная методом непосредственной этимологизации, дается с некоторым сомнением, причем сомнением справедливым. Как она пишет, «вопрос об этимологии как *слепого*, так и *глухого* нельзя считать окончательно решенным. И дело не только в формальной стороне этимологии, которая может вызывать сомнения у тех или иных этимологов. Дело в самой семантической реконструкции. При всей очевидности наличия двух “автономных” центров в семантической структуре обоих гнезд (сенсорного и физического), при всей той смысловой дистанции, которая существует между значениями “закрытости” и “чувственного восприятия”, эти значения способны взаимодействовать <...> и в рамках самой сенсорной семантики» [Толстая 2008: 172]. То есть, как пишет об этом же Анна А. Зализняк, «иногда возникают проблемы с направлением семантического перехода» [Зализняк 2013: 43], которые на материале проведенного С. М. Толстой исследования проблемными уже не кажутся: на глубинном уровне можно предположить наличие семантем с неопределенной и размытой семантикой (например, ‘мутный, плохо видный, темный, плохо доступный для зрительной перцепции’), при которых собственно агенс и пациенс еще не выражены⁸. В дальнейшем они находят свое морфологическое воплощение при помощи соответствующей суффиксации, а при переходе в область глаголов — в каузативных инфиксах, выраженных далеко не во всех языках. Ср. русск. *темнеть* — *темнить* при франц. *noirsir* ‘делать черным — становиться черным’.

Аналогичных примеров, наверное, можно было бы найти еще множество (причем в разных языках), но, приближаясь к основному объекту моего исследования, мне хотелось бы вновь вернуться к теме любви и остановиться подробнее на семантике русск. *милый*, также содержащего симметрично-реципрокный перцептивный признак.

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой даются два разных основных значения у лексемы *милый*: «1. Славный, привлекательный, приятный; 2. Дорогой, любимый» [Ожегов, Шведова 1998: 356]. С одной стороны, это действительно так: в ряде контекстов можно реконструировать описание «приятного» человека, который говорящему вовсе не «дорог», тогда как в других, напротив, «дорогой, любимый» человек или объект может описываться и как лишенный таких качеств, как приятность, доброта, красота и пр.

⁸ Данный двунаправленный семантический процесс не обязательно кроется в глубинах языковой реконструкции. Ср., например, современное русск. *отказник* — как ‘тот, кто отказался от чего-либо’ (например, от службы в армии), так и ‘тот, кому отказали в чем-либо’ (например, в визе), а также ‘тот, от кого отказались’ (например, отказалась мать в родильном доме).

«Она *мила*, скажу меж нами...», — пишет Пушкин, но из дальнейшего содержания стихотворения становится очевидно, что сердце автора отдано вовсе не «ей».

Ср., также, например:

*Какая может быть польза от занятий (талантливового, **милого**, но странного) А. Д. нострапикой — гипотезой о родстве языков мира?* (А. Жолковский. Эросипед и другие виньетки. М., 2003. С. 180).

Национальный корпус русского языка, естественно, дает обилие примеров как на *милый-1*, так и на *милый-2*, например:

*Она, государь, очень **мила** и, кажется, девушка скромная и добрая* [А. С. Пушкин. Арап Петра Великого (1827)].

При «противоположных» значениях (как правило, с дативом в роли логического субъекта):

*И понял, что она ему так **мила**, что он хочет взять ее в жены* [М. Гиголашвили. Чертовое колесо (2007)];

*Так чем же так **мила** нам эта стеклянная колбочка с вольфрамовой нитью?* [М. Русанова. До лампочки // «Парадокс» (2004)].

Субстантивированные *милый* и *милая* получают значение ‘друг, возлюбленный’ — ‘подруга, возлюбленная’ и семантически акцентируются уже в гораздо большей степени на неких конвенционализированных взаимоотношениях любви и партнерства, чем на описании привлекательных качеств. Ср., яркий пример из «жестокой» баллады:

***Милый** мой строен и высок,
Милый мой ласков, но жесток,
Больно хлещет шелковый шнурок.*

Вряд ли этого человека можно назвать симпатичным или приятным, однако показательно само его обозначение *милый мой* = ‘тот, кто меня любит’ (в дальнейшем тексте идея подтверждается описанием его самоубийства как реакции на измену героини). Естественно, я понимаю, что в данном случае, как и во многих других аналогичных случаях, в тексте употреблено реляционное имя, уже отчасти десемантизированное и маркирующее лишь тип отношений, ср. *жених, муж, любовник*. Ср. также *мой миленок* как персонаж частушек. Однако о полной десемантизации и конвенционализации мы здесь говорить не можем. *Мой милый* — это одновременно и конвенционализованное обозначение сексуального партнера, отношения с которым строятся на взаимной привязанности и избирательности (т. е. ‘тот, кто любит меня’ и ‘тот, кого люблю я’).

Естественно, четкой границы между *милый-1* и *милый-2* нет, и оба значения входят в одно широкое семантическое поле ‘привлекательный, приятный, любимый’. Трудно удержаться и не процитировать здесь русскую пословицу *Не по хорошу мил, а по милу хорош*, т. е. мы любим не тех, в ком видим разного рода достоинства, но мысленно наделяем этими достоинствами тех, кого мы любим.

Ср. пример из Национального корпуса русского языка:

*Он уверял меня, что я **мила**, что я **хороша**, что он любит меня всем сердцем* [П. Ю. Львов. Даша, деревенская девушка (1803)].

В последнем примере уже не совсем ясно, употреблено *мила-1* или *мила-2*, видимо, в нем соединены оба значения: герой уверяет, что любит девушку, и поэтому она кажется ему милой? Или она сама так мила, что невольно вызвала его любовь? Грань в данном случае нащупывается уже так искусственно, что проводить ее, как кажется, нет и смысла.

В обоих случаях употребления (условно *милый-1* и *милый-2*) объект, обладающий признаком ‘быть милым’, в ситуации коммуникации играет скорее пассивную роль (ср. пример с электрической лампочкой — «колбочкой с вольфрамовой нитью»). Более того, он требует

предположительного наблюдателя, который может оценить наличие у объекта данного признака. Однако это не совсем так, и тот же Национальный корпус дает здесь интересные примеры (впрочем, и так известные и предсказуемые):

Шереховской был со мной мил и любезен [В. П. Аничков. Екатеринбург-Владивосток (1934)];

Светочка умела быть мила, а уж когда собеседник привыкал к ее выдающейся черте лица и птичьему голосу и переставал их замечать, то эффект и вовсе был сногшибателен [Т. Соломатина. Девять месяцев (2010)].

Произносимая Фаиной Раневской фраза «Я никогда не была красива, но всегда была чертовски мила» означает примерно то же: при отсутствии природной красоты субъект умеет казаться приятным и привлекательным, прикладывая для этого определенные усилия.

Возвращаясь к анализу семантики понятий *темный* / *слепой* С. М. Толстой, проведем сопоставление:

— *темный*, говоря условно, это тот, кого не видят, и тот, кто не видит;

— *милый* — это тот, кого любят, и тот, кто любит и/или старается быть любимым⁹.

Говоря строго, я не пытаюсь буквально настаивать на полной симметричности приведенного соотношения, особенно на современном языковом уровне, а также в рамках семантики современного русск. *милый*. Анализ приведенных в работе С. М. Толстой примеров, особенно ее диахронические отступления (не случайно она пишет не только о *темном*, но и *слепом* и *глухом*), заставил меня прийти к идее принципиальной «лабильности» или двунаправленности прилагательных перцептивного восприятия и эмоциональной оценки. Так, например, русск. *хороший*, естественно, имеет в первую очередь значение «наделенный какими бы то ни было положительными свойствами». Возьмем, однако, серию примеров:

Володенька проснулся сегодня такой сердитый, такой сердитый, а я ему сразу кофе в кровать — и он стал хороший (Б. Ф. Егоров. Воспоминания, СПб., 2004. С. 273).

Естественно, изменившееся настроение описываемого лица не прибавило ему положительных качеств ни объективно, ни в глазах его жены, но изменило его поведенческую тактику по отношению к ней, т. е. «он стал производить впечатление доброго человека». Слово *хороший* в данном контексте имеет значение «быть добрым, милым по отношению к кому-либо», что уже изначально заложено в двойной валентности адъективов данного класса. Ср. другой пример (из случайно услышанного на улице телефонного разговора):

— *Лешка, ну будь хорошим!*

Полная отчаяния реплика неизвестной девушки была вызвана, как я могла понять из предыдущего разговора, равнодушием ее собеседника и нежеланием не только отвечать на ее чувства, но даже принимать их.

И наконец, пример из известного стихотворения Агнии Барто:

*Все равно его не брошу,
Потому что он хороший!*

Естественно, слова реконструируемого ею ребенка следует понимать не как «старая игрушка обладает определенными положительными свойствами», а просто — «я его люблю».

Несомненно, данными амбивалентными свойствами (или потенциальной лабильностью) обладают прилагательные эмоциональной оценки и в других языках. Ср., например, англ. *nice* «милый, приятный» в конструкции *be nice* «будь мил (и сделай что-л. для меня)»; совр. франц. *aimable* «приятный, любезный», т. е. старающийся показаться милым объекту коммуникации (букв. «тот, кого следует любить»); также франц. *amabilité* «любезность, приветливость» при лат. *amābilitās* «любовь, любовные чувства, красота, прелесть».

⁹ Данное сопоставление не показалось убедительным моему рецензенту, что заставило меня обратиться к дополнительным примерам, иллюстрирующим мою идею.

Ср. вновь пример из реальной жизни:

С., три с половиной года, сказала своей бабушке: «Я люблю тебя мило». В ответ на удивленный вопрос, чем это объясняется, она ответила: «Потому что я еще маленькая».

Видимо, в речи ребенка проявилось потенциальное лабильное значение понятия *милый*: ребенок не может проявлять свою любовь в виде активных поступков, но может осознанно стараться быть милым и приятным по отношению к тому, кого он любит.

То есть, переводя признак в категорию активных действий, я могу выделить потенциальную лабильность несуществующего в русском языке глагола: ‘воспринимать как наделенный признаком ‘милый’, любить’ — ‘быть милым, заставлять любить себя’ (или с характерным русским каузативным инфиксом: **милеть* — **милить*).

Образование деадъективных глаголов (а к данному типу формобразования предлагает относиться Р. Матасович островные кельтские глаголы любви, а также предположительные галльские партиципальные формы), естественно, необычайно широко представлено в языках мира. Оно, как правило, носит характер семантического сдвига: ‘признак X’ → ‘наделять признаком X (пациенса или себя самого)’. Ср. *мертвый* — *умертвить* (ср. др.-ирл. *marb* — *marbaid*), *белый* — *белишь* / *белеть* (при французском лабильном *blanchir*) и т. д., где сдвиг вносится дополнительными морфемами и не является в строгом смысле семантическим. Данный морфо-семантический сдвиг у «глаголов любви» также засвидетельствован достаточно широко, ср.: болг. *мил* ‘милый, дорогой’ — *милея* ‘люблю’, рум. *dragă* ‘милый, приятный’ — *dragoste* ‘любить’, чеш. *milovat* ‘любить’, литов. *mylėti* ‘любить’, русск. разг. *миловать*, франц. *chër* ‘милый, дорогой’ — *chërir*¹⁰ ‘нежно любить, дорожить’ и др. То есть, как я понимаю, в данном случае речь идет уже не столько о наделении пациенса признаком X, сколько о мысленной оценке пациенса как обладающего данным признаком по субъективному взгляду агенса. Как пишет А. Б. Летучий, «для глаголов эмоций типа ‘нравиться’ <...> ни один из актантов не является прототипическим пациенсом или агенсом. Тем самым ни один из актантов также не является прототипическим субъектом/объектом. Это означает, что язык может выбрать любую из моделей — с субъектом-экспериментером или с субъектом-стимулом <...> или не выбрать ни одну. Именно в последнем случае возникает конверсивная лабильность» [Летучий 2013: 148]. Но конверсивная лабильность автоматически возникнет, если язык одновременно выберет и обе модели!

Нечто подобное, видимо, произошло и с английским глаголом *like* ‘любить’, который в древнеанглийском употреблялся имперсонально и имел значение ‘нравиться’ (значение фиксируется еще в языке Шекспира [Skeat 1887: 333]; см. трактовку с грамматических позиций семантического перехода ‘нравиться’ — ‘любить’ у англ. *like* на примере фразы *Him like oysters* в [Есперсен 1958: 182] и ее критику в [Филмор 1981]). Насколько я понимаю, реконструируемый общегерманский глагол **likēnan* обладал отмеченной «конверсивной лабильностью», вызванной и его этимологией: этот слабый глагол восходит к прилагательному **likaz* ‘похожий, подобный, одинаковый’ (видимо, нравилось то или тот, кто был подобен говорящему). Однако в языках-потомках произошла интересная семантическая дивергенция, ср.: гот. *leikan*, др.-англ. *lician* ‘нравиться’ при др.-исл. *lika*, др.-фриз. *likia*, др.-в.-нем. *lihhen* ‘любить’ (см. [Orel 2003: 248]). Дальнейшая судьба английского глагола демонстрирует «цикличность пути диахронического семантического развития» [Deo 2015: 192].

По отношению к глаголам любви, как мне кажется, данное явление в реконструируемой диахронии должно представлять скорее характерный случай. Чтобы понять механизм переноса, необходимо, видимо, точнее определить, что именно понимается под любовью на уровне не только эмоционально-психологического, но и лингвистического анализа. Так, Ю. Д. Апресяном дается следующее определение понятия *любовь*:

¹⁰ Естественно, позднее образование, демонстрирующее продуктивность модели.

Любовь X-а к Y-у (например, любовь к книгам, к природе, к искусству, к детям, к родителям, к родине) =

‘Чувство, испытываемое X-ом по отношению к Y-у,
который приятен X-у и
вызывает у X-а желание быть в контакте с Y-ом или
каузировать Y-у добро’ [Апресян 1974: 107].

Данное очень верное и емкое (благодаря противопоставлению *и/или*) определение было в дальнейшем уточнено в [Зализняк 2006: 377—381], которая со ссылкой на исследование А. Д. Шмелева [Шмелев 2002: 170—175] предлагает выделить понятия любви «эгоистической» (предполагающей получение удовольствия от использования соответствующего предмета¹¹) и любви «альтруистической» (предполагающей в первую очередь делать кому-то добро). Отчасти соглашаясь с выделением А. Д. Шмелевым двух «режимов употребления» слова *любовь* (первый из которых указывает на чувство, «которое субъект испытывает по отношению к объекту любви», а второй на свойство субъекта, состоящее в том, что «субъект обычно испытывает удовольствие от реализации некоторой ситуации», см. [Шмелев 2002: 170]), Анна А. Зализняк вводит важное для меня понятие «душевного контакта», возможного лишь в том случае, если «объектом любви является класс живых существ» [Зализняк 2006: 378]. Иными словами, любовь (точнее, один из ее подвидов) изначально предполагает взаимность или «реципрокность».

Приведем вновь пример из реальной жизни:

Ю. (54 года) рассказывает автору о своем неудачном романе с Н.: «Она меня обманула. Она сказала: я всегда мечтала о большой любви. И я на это купился! Так где же теперь ее любовь?!».

Совершенное очевидно, что, говоря о *большой любви*, Н. имела в виду, что мечтала быть ее объектом, тогда как Ю. понял ее слова как потенциально субъектные. Но очевидно и то, что сам русский язык, семантически плохо различающий несколько типов любви, способствовал возникновению данной коммуникативной неудачи. Но поскольку, как кажется, данное различие отчасти предстает как искусственное, абсолютно ошибочным такое понимание не было: скорее всего, Н. предполагала, что ответом на проявление любви Ю. также будет ее любовь.

Все многочисленные примеры «превратностей любви» относятся ко взаимоотношениям взрослых людей, отравленных интроспекцией. Взаимная любовь детей и родителей (на раннем этапе и в идеале) базируется на инстинкте продолжения рода и заботе о потомстве¹². Но при этом сам «объект заботы» неизбежным образом маркирует себя вербально по отношению к ближайшим родственникам, от которых находится в полной зависимости, и для общества человеческого наиболее надежным средством в данном случае оказываются такие интуитивные системы, как жесты и мимика, а на уровне конвенциональном — речь. Так возникают на базе «лепет» собственно лексемы, кодирующие понятия «мама» — «дитя» — «любить». Как правило, нормированный язык разводит их на границы семантического поля, чтобы избежать ненужной омонимии (по сформулированному И. Кларком «принципу контраста» (см. [Clark 1993])¹³, однако на уровне диалектов и в случае языковых контактов они могут сталкиваться и переплетаться, проявляясь в псевдоошибках.

Я полагаю, что с таким случаем мы и имеем дело, анализируя галльск. *caros* — *cara*, родственное др.-ирл. *caraid* ‘любит’ и оказавшееся в контакте с лат. *carus* ‘милый, дорогой’.

Кроме многочисленных *nomina propria*, эта основа встречается изолированно в надписи на пряслице (которые также, отметим, писались по латинским моделям):

¹¹ Я бы назвала этот тип любви «преферентным использованием», охватывающим как одушевленные объекты (родители, возлюбленные, супруги, друзья), так и объекты неодушевленные (книги, фильмы, искусство, ананасы, прогулки и пр.).

¹² Интерпретация этого феномена находится далеко за рамками моего исследования и вне границ моей компетенции. Среди многочисленных работ об этом отсылаю, например, к разделу «Эволюция альтруизма» в [Марков 2011: 291—392].

¹³ Подробнее см. в [Бурлак 2011: 124—130].

GENETA VIS CARA (L-114) [RIG II, 2: 325].

Надпись традиционно-предположительно переводится как ‘Девушка, будь (?) милой’, и в таком случае, видимо, подаривший пряслице хотел сказать просто нечто приятное либо что-то вроде «Будь мила со мной» (ср. приведенные выше русские примеры). Однако сам характер надписи и отсутствие пробела между элементами VIS и CARA позволяют говорить о двучленной лексеме, причем первым элементом, как предполагается в издании П. И. Ламбера, может быть общекеельский элемент **wis-* ‘знание, мудрость, добро’. В таком случае, как он предлагает, надпись в целом можно перевести как что-то вроде ‘девушка — умница’ (букв. ‘мудрость любящая’, в оригинале *qui aime le bien* [RIG II, 2: 326]). Ср. также эпитет Аполлона в галло-римской эпиграфике — *Apollo louantu-carus* ‘Аполлон молодость любящий’, в котором форма *carus*, по мнению П. И. Ламбера (как и многих других), употреблена «с активным значением» [RIG II, 2: 325]. Переход пассивного значения в активное, с точки зрения издателя, здесь даже не нуждается в комментарии, что не означает, естественно, что он остался им не замеченным. Как я понимаю, в данном случае (издание корпуса галльских текстов с относительно небольшими комментариями) ему показалось справедливо неуместным углубляться в сложную дискуссию о двунаправленной семантике галльской лексемы. Однако приведенная им параллель с эпитетом Аполлона подтверждается и упомянутым мною выше именем *Caromaros* ‘милый-большой’. По мнению Д. Эванса, имя следует трактовать как композит с первой основой с вербальной семантикой и второй основой — морфологизованным адективом ‘большой’, имеющим скорее статус суффикса (см. [Ellis Evans 1967: 61]). Иными словами, в его трактовке, с которой я согласна, имя означает что-то вроде ‘многолюбящий’, т. е. агентивная природа галльского *caros* проявляется и здесь.

Итак, можно прийти к выводу, что галльск. *caros* одновременно могло означать и ‘милый, любимый’, и ‘любящий’, что подтверждается не только, точнее, не столько морфологической неразвитостью смешанных галльских диалектов (особенно в зонах длительных контактов с народной латынью), сколько потенциальной лабильностью самого понятия ‘любить — вызывать любовь’.

Итак, возвращаясь к нашей надписи ARTULA KARA MATIR, можем ли мы теперь однозначно считать ее ошибочной? С одной стороны, безусловно, да, особенно на фоне безусловно ошибочных надписей типа FILIA CARISSIMA. Но ошибочной с точки зрения латинского языка. Присутствующий в тексте галльский элемент заставляет предположить, с другой стороны, что в условиях несбалансированного двуязычия и низкой компетенции прирейнских галлов в латыни даже суперлативные формы могли восприниматься как означающие повышенное содержание признака X, и *filia carissima*, заказавшая эпитафию своему отцу, безусловно, хотела назвать себя «очень любящая». Впрочем, все «дражайшие» женщины, оставившие нам эти анекдотические памятники смешения языков, действительно были любимы умершими мужьями или отцами. По крайней мере, как можно предположить, считали себя таковыми. Хотя бы на уровне этикетных формульных эпитафий.

Начав писать о надписи CIL XIII 3909, я ушла от нее довольно далеко. Но языковой феномен и должен описываться в комплексе составляющих — социолингвистических, психологических, семантических, грамматических и, может быть, даже каких-то иных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Апресян 1974 — Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Наука, 1974. [Apresjan Yu. D. *Leksicheskaya semantika. Sinonimicheskie sredstva yazyka* [Lexical semantics. Synonymic means of language]. Moscow: Nauka, 1974.]
- Бурлак 2011 — Бурлак С. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы. М.: Астрель, 2011. [Burlak S. *Proiskhozhdenie yazyka. Fakty, issledovaniya, gipotezy* [The origins of language: facts, studies, hypotheses]. Moscow: Astrel', 2011.]
- Есперсен 1958 — Есперсен О. Философия грамматики. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. [Jespersen O. *Filosofiya grammatiki* [The philosophy of grammar]. Moscow: Izd-vo Inostrannoi Literatury, 1958.]

- Зализняк 2006 — Зализняк Анна А. Многозначность в языке и способы ее представления. М.: Языки славянской культуры, 2006. [Zaliznyak Anna A. *Mnogoznachnost' v yazyke i sposoby ee predstavleniya* [Polysemy in language and the ways of its presentation]. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul'tury, 2006.]
- Зализняк 2013 — Зализняк Анна А. Семантический переход как объект типологии // Вопросы языкознания. 2013. № 2. С. 32—51. [Zaliznyak Anna A. Semantic change as an object of a typological investigation. *Voprosy jazykoznanija*. 2013. No. 2. Pp. 32—51.]
- Иванова 2015 — Иванова О. В. Хроника: Рабочая встреча Общества индоевропейских исследований: «Отглагольные прилагательные и причастия в индоевропейских языках», Париж, 24—26 сентября 2014 г. // Вопросы языкового родства. 2015. № 13/1. С. 173—177. [Ivanova O. V. Chronicle: A working meeting of the Society of Indo-European Studies: «Verbal adjectives and participles in the Indo-European languages», Paris, September 24—26, 2014. *Voprosy yazykovogo rodstva*. 2015. No. 13/1. Pp. 173—177.]
- Королев 1984 — Королев А. А. Древнейшие памятники ирландского языка. М.: Наука, 1984. [Korolev A. A. *Drevneishie pamyatniki irlandского yazyka* [The earliest Irish literary texts]. Moscow: Nauka, 1984.]
- Летуций 2009 — Летуций А. Б. Двойной реципрок: значение и употребление // Киселева К. Л., Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Татевосов С. Г. (ред.-сост.). Корпусные исследования по русской грамматике. М.: Пробел, 2009. С. 335—361. [Letuchii A. B. Double reciprocal: meaning and use. *Korpusnye issledovaniya po russkoi grammatike*. Kiseleva K. L., Plungyan V. A., Rakhilina E. V., Tatevosov S. G. (eds-comp.). Moscow: Probel, 2009. Pp. 335—361.]
- Летуций 2013 — Летуций А. Б. Типология лабильных глаголов. М.: Языки славянской культуры, 2013. [Letuchii A. B. *Tipologiya labil'nykh glagolov* [A typology of labile verbs]. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul'tury, 2013.]
- Марков 2011 — Марков А. Эволюция человека II. Обезьяны, нейроны и душа. М.: Астрель-Corpus, 2011. [Markov A. *Evolutsiya cheloveka II. Obez'yany, neirony i dusha* [Human evolution II. Apes, neurons and the soul]. Moscow: Astrel'-Corpus, 2011.]
- Михайлова 2014 — Михайлова Т. А. URSULA ~ ARTULA: о возможных прочтениях надписи CIL XIII, 3909 // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XVIII. Материалы чтений, посвященных памяти проф. И. М. Тронского. СПб.: Наука, 2014. С. 223—231. [Mikhailova T. A. URSULA ~ ARTULA: about possible interpretations of inscription CIL XIII, 3909. *Indoeuropeiskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya — XVIII. Materialy chtenii, posvyashchennykh pamyati prof. I. M. Tronskogo*. St. Petersburg: Nauka, 2014. Pp. 223—231.]
- Ожегов, Шведова 1998 — Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1998. [Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. *Tolkovyi slovar' russkogo yazyka* [An explanatory dictionary of the Russian language]. Moscow: Azbukovnik, 1998.]
- Пешковский 2001 — Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Языки славянской культуры, 2001. [Peshkovskii A. M. *Russkii sintaksis v nauchnom osveshchenii* [Russian syntax in the scientific interpretation]. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul'tury, 2001.]
- Толстая 2008 — Толстая С. М. Глухой и слепой // Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М.: Индрик, 2008. С. 134—174. [Tolstaya S. M. «Deaf» and «blind». Tolstaya S. M. *Prostranstvo slova. Leksicheskaya semantika v obshcheslavyanskoi perspektive*. Moscow: Indrik, 2008. Pp. 134—174.]
- Трубачев 2006 — Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М.: URSS, 2006. [Trubachev O. N. *Istoriya slavyanskikh terminov rodstva i nekotorykh drevneishikh terminov obshchestvennogo stroya* [The history of Slavic kinship terms and some oldest terms of social system]. Moscow: URSS, 2006.]
- Филмор 1981 — Филмор Ч. Дело о падеже // Звегинцев В. А. (ред.). Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X: Лингвистическая семантика. М.: Прогресс, 1981. С. 369—495. [Fillmore Ch. The case for case. *Novoe v zarubezhnoi lingvistike*. Zvegintsev V. A. (ed.). No. X: *Lingvisticheskaya semantika*. Moscow: Progress, 1981. Pp. 369—495.]
- Шмелев 2002 — Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира. М.: Языки славянской культуры, 2002. [Shmelev A. D. *Russkaya yazykovaya model' mira* [Russian language model of the world]. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul'tury, 2002.]
- Bryant, Barrett 2007 — Bryant G. A., Barrett H. C. Recognizing intentions in infant-directed speech. Evidence for universals. *Psychological Science*. 2007. Vol. 18. No. 8. Pp. 746—751.
- Clark 1993 — Clark E. V. *The Lexicon in acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Collis 2010 — Collis J. *The Celts. Origins, myths, inventions*. Gloucestershire: The History Press, 2010.
- Davies et al. 2000 — Davies W., Graham-Campbell J., Handley M., Kershaw P., Koch J. T., Le Duc Gw., Lockyear K. (eds). *The inscriptions of Early Medieval Brittany — Les inscriptions de la Bretagne du Haut Moyen Age*. Oakville, CT, Aberystwyth: Celtic Studies Publications, 2000.

- Delamarre 2003 — Delamarre X. *Dictionnaire de la langue gauloise: une approche linguistique du vieux-celtique continental*. Paris: Errance, 2003.
- Delamarre 2007 — Delamarre X. *Noms de personnes celtique dans l'épigraphie classique*. Paris: Errance, 2007.
- Deo 2015 — Deo A. Diachronic semantics. *Annual Review of Linguistics*. 2015. Vol. 1. Pp. 179—197.
- Dinneen 1927 — *Foclóir Gaedhilge agus Béarla — Irish-English dictionary*. Dinneen P. S. (comp.). Dublin: Educational Company of Ireland, 1927.
- Duval 1952 — Duval P.-M. *La vie quotidienne en Gaule pendant la paix romaine*. Paris: Hachette, 1952.
- Ellis Evans 1967 — Ellis Evans D. *Gaulish personal names. A study of some continental formations*. Oxford: Clarendon Press, 1967.
- Ernout, Meillet 1939 — Ernout A., Meillet A. *Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots*. Paris: Klincksieck, 1939.
- Hamp 1976 — Hamp E. P. On some Gaulish names in *-ant-* and Celtic verbal nouns. *Ériu*. 1976. Vol. 27. Pp. 1—20.
- IEW — Pokorny J. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bern: Francke Verlag, 1959.
- ILB — *Les inscriptions Latines de Belgique*. Deman A., Raepsaet-Charlier M. Th. (eds). Bruxelles: Edition de l'université de Bruxelles, 1985.
- Jakobson 1967 — Jakobson R. Why 'mama' and 'papa'? Jakobson R. *Selected Writings. Vol. 1: Phonological studies*. The Hague: Mouton, 1967. Pp. 538—545.
- Jespersen 1949 — Jespersen O. *Language, its nature, development and origin*. London: G. Allen & Unwin Ltd., 1949.
- Krämer 1974 — Krämer K. Die frühchristlichen Grabinschriften Triers. *Trierer Grabungen und Forschungen*. Mainz: Verlag Phillip von Zabern, 1974. Bd 8.
- Lamber 2014 — Lamber P.-Y. Some Gaulish participial formations. *Continental Celtic word formation. The onomastic data*. García Alonso J. L. (ed.). Salamanca: Ediciones Universidad De Salamanca, 2014. Pp. 123—130.
- LEIA — *Lexique étymologique de l'irlandais ancien de J. Vendryes: lettre D*. Lambert P. Y. (par). Dublin; Paris: Dublin Institute for Advanced Studies; Centre National de la Recherche Scientifique, 1996.
- McCone 1994 — McCone K. An tSeán-Ghaeilge agus a réamhstair. *Stair na Gaeilge*. McCone K., McManus D., Ó Háinle C., Williams N., Breatnach L. (eag.). Maigh Nua: Coláiste Phádraig, 1994. Pp. 61—220.
- McManus 1997 — McManus D. *A guide to Ogam*. Maynooth: An Sagart, 1997.
- Matasović 2009 — Matasović R. *Etymological dictionary of Proto-Celtic*. Leiden: Brill, 2009.
- Meißner 2009/2010 — Meißner T. Das Hieronymuszeugnis und der Tod des Gallischen. *Zeitschrift für celtische Philologie*. 2009/2010. Bd 57. S. 107—112.
- Orel 2003 — Orel V. *A Handbook of Germanic etymology*. Leiden: Brill, 2003.
- Raepsaet-Charlier 2001a — Raepsaet-Charlier M.-Th. Caractéristique et particularités de l'onomastique trévière. *Noms: Identités culturelles et romanisation sous le Haut-Empire*. Dondin-Payre M., Raepsaet-Charlier M.-Th. (eds). Bruxelles: Le Livre Timperman, 2001. Pp. 343—398.
- Raepsaet-Charlier 2001b — Raepsaet-Charlier M.-Th. Critères de datation épigraphique pour les Gaules et les Germanies. Dondin-Payre M., Raepsaet-Charlier M.-Th. (eds). *Noms: Identités culturelles et Romanisation sous le Haute-Empire*. Bruxelles: Le Livre Timperman, 2001. Pp. ix—xiv.
- Raybould, Sims-Williams 2007 — Raybould M. E., Sims-Williams P. *A corpus of Latin inscriptions of the Roman Empire containing Celtic personal names*. Aberystwyth: CMCS, 2007.
- RIG I — *Recueil des inscriptions gauloises. Vol. I: Textes gallo-grecs*. Lejeune M. (ed.). Paris: CNRS, 1985.
- RIG II, 2 — *Recueil des Inscriptions Gauloises. Vol. II. F. 2: Textes Gallo-Latins sur instrumentum*. Lamber P.-Y. (ed.). Paris: CNRS, 2002.
- Schmidt 1957 — Schmidt K. H. *Die Komposition in Gallischen Personennamen*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1957.
- Skeat 1887 — Skeat W. *An etymological dictionary of the English language*. Oxford: At the Clarendon Press, 1887.
- Stüber 2005 — Stüber K. *Schmied und Frau. Studien zur gallischen Epigraphik und Onomastik*. Budapest: Archaeolingua. Series Minor, 2005.
- Stüber 2007 — Stüber K. Effects of language contact on Roman and Gaulish personal names. *The Celtic languages in contact. Papers from the workshop within the framework of the XIII International congress of Celtic studies*. Tristram H. L. C. (ed.). Potsdam: Potsdam University Press, 2007. Pp. 81—92.
- Watkins 1962 — Watkins C. *Indo-European origins of Celtic verb. Part I: The Sigmatic Aorist*. Dublin: DIAS, 1962.
- Wojtyła-Świerżowska 1991 — Wojtyła-Świerżowska M. Dlaczego głuchy nie słyszy? Rozważania o etymologii psł. *Głuchʹ. Јужнословенски филолог*. Кн. 47. Београд, 1991. С. 209—220.